

Ходорев С.В.

В ПУТЬ



18+

Сергей Ходорев В ПУТЬ

<https://litres.ru/74535359>

SelfPub; 2026

Аннотация

«В путь» — это история о взрослении в условиях тотального одиночества и безысходности. Сергей Хударев проходит через спецшколу, тюрьмы, этапы и лагеря, сталкиваясь с жестокостью системы и равнодушием близких. Его детство — это бегство от родителей, голод под лестницей и кражи из-за нужды. Судьба бросает его по этапам: Колпашево, Нижневартовск, Тюмень, Новосибирск, Мариинск... В каждой камере он учится выживать, опираясь только на себя.

Книга показывает, что за решёткой человек может найти не только врагов, но и тех, кто поделится последним куском хлеба или сигаретой. Это повествование о том, как можно сохранить человечность даже там, где её пытаются вытравить, и о том, что надежда остаётся до последнего вздоха.

Сергей Ходорев

В ПУТЬ

Часть V. Конверт

Оглавление

Глава 1. Воронок

Глава 2. Обыск

Глава 3. Отстойник

Глава 4. Колпашево

Глава 5. Камера

Глава 6. Дорога

Глава 7. Барбульки

Глава 8. Руслан

Глава 9. Вася

Глава 10. Кровь

Глава 11. Изолятор

Глава 12. Земляки

Глава 13. Суд

Глава 14. Приговор

Глава 15. После приговора

Глава 16. Этап

Глава 17. Нижневартовск

Глава 18. Брага

Глава 19. Прогулка

Глава 20. Столыпин

Глава 21. Сон

Глава 22. Утро в столыпине

Глава 23. Песня

Глава 24. Круглолица

Глава 25. Тюмень

Глава 26. Воронок

Глава 27. Централ

Глава 28. Транзит

Глава 29. Кружка

Глава 30. Новосибирск

Глава 31. Полосатики

Глава 32. Малолетки

Глава 33. Пахан

Глава 34. Альбатрос

Глава 35. Сало

Глава 36. Опять дорога

Глава 37. Мариинск

Глава 38. Клопы

Глава 39. Рубль

Глава 40. Хлеб

Глава 41. Томск

Глава 42. Карантин

Глава 43. Ваня

Глава 44. Карты

Глава 45. Капсула

- Глава 46. Конь
- Глава 47. Анаша
- Глава 48. Вскрытие
- Глава 49. Сказка
- Глава 50. Мать
- Глава 51. Мечта
- Глава 52. Сборы
- Глава 53. Дорога в лагерь
- Глава 54. За забором
- Глава 55. Наколки
- Глава 56. Последняя дорога

Глава 1. Воронок

Сергей сидел в воронке и смотрел на свои руки. Руки были как чужие — красные, обветренные, с трещинами на костяшках, которые не заживали уже, наверное, месяца три. Он пытался вспомнить, когда последний раз мыл их тёплой водой, с мылом, по-человечески — и не мог. В памяти всплывал только холодный кран в камере предварительного заключения, ржавая вода, пахнувшая железом, и серое полотенце, которое разделяли на четверых.

Воронок, это не машина. Это клетка на колёсах. Внутри — решётки, делящие кузов на секции, как в зоопарке: в одной, одни звери, в другой, другие. Сиденья — жёсткие, деревянные, обшарпанные, прикованные к полу. Пахнет бензином, мокрой одеждой, чужим потом и ещё чем-то, чему

нет названия, — запахом безысходности, может быть. Или просто запахом большого количества запертых в замкнутом пространстве людей, которые давно не мылись.

Сергей сидел в средней секции, напротив старика. Старик был из тех, кого называют «каторжанами» — не потому что каторга, а потому что сидят давно, много, по-настоящему. Лицо — как мятая карта: морщины шли по нему во все стороны, будто кто-то провёл ногтями по глине. Руки — большие, узловатые, с желтизной под ногтями, от табака, от работы, от жизни, которая не баловала. Сидел он за ерунду — за пару алюминиевых фляг, которые стащил с завода. Воры — но не крупные, а мелкие, вроде тех, что крадут с предприятий всё, что плохо лежит. Фляги — алюминиевые, лёгкие, на цветмет сдашь, копейки, а копейки на воле, деньги.

Старик посмотрел на Сергея — не оценивающе, не злобно, а так, как смотрят на молодых в этих местах: с тихой, усталой жалостью, смешанной с уважением. Молодой — значит, впереди ещё весь срок. Молодой — значит, ещё не понимает, во что вляпался. Молодой — значит, может, ещё выкарабкается. А может — нет.

— Этап? — спросил старик, не повышая голоса. Голос у него был низкий, хриплый, как будто кто-то тёр наждаком по дереву.

— Этап, — кивнул Сергей.

— Первый раз?

— Первый.

Старик помолчал. Поковырял в зубах — зубы были жёлтые, редкие, один передний, золотой, тускло блеснувший в тусклом свете. Потом сказал:

— Не суетись. Самое главное — не суетись. Когда выгонять будут — иди спокойно. Когда обыскивать будут — молчи. Когда спросят «обиженный — не обиженный» — говори: не обижен, по жизни всё нормально. Понял?

— Понял.

— И не огрызайся. Тут не спецшкола, тут за огрызок — дубинкой по хребту, и никто не спросит, как тебя зовут.

Сергей кивнул. Спецшкола. Странно — он вспоминал её теперь как что-то почти безобидное. Забор, вышки, собаки, Марья Петровна с её «будь добр», карцер — всё это казалось детским лагерем по сравнению с тем, что ждало его здесь. Там он был малолеткой. Здесь — тоже малолетка, единственная во всём этапе, но правила другие. Здесь не воспитывают. Здесь содержат. Разница — как между тем, кто учит тебя плавать, и тем, кто просто бросает в воду.

Старик, будто прочтя его мысли, покачал головой.

— Ты, малой, не бойся, но и не геройствуй. Тут вот какое дело: кто суетится — того бьют. Кто молчит — того не трогают. Кто герой — того ломают. Понял?

— Понял.

— Вот и хорошо. А ты по какой статье?

— Сто сорок четвёртая, часть первая. И сто шестьдесят третья.

Старик присвистнул — еле слышно, одними губами.

— Грабёж? Серьёзно. А сто шестьдесят третья, это что?

— Умышленное причинение вреда здоровью.

— Ого. Ну, малой, ну... И сколько дадут?

— Не знаю. Суд будет. Пока — следствие.

Старик помолчал, поскрёб подбородок — серый, колючий, как наждачка, и сказал негромко:

— Может, условный дадут. Если первая судимость, если молодой. Ты ж первый раз?

— Первый.

— Ну вот. Может, пронесёт. А может — нет. Тут как в жизни: пока не приговорят — не знаешь. А когда приговорят — уже всё знаешь, да поздно.

Сергей не ответил. Не потому что не хотел — а потому что нечего было сказать. Он и сам не знал, что его ждёт. Надежда — слабая, тусклая, как та лампочка в воронке, ещё теплилась где-то внутри, но он давно научился не греться на неё. Греться на надежду — как греться на спичку: вспыхнет и погаснет, а ты останешься на том же месте, только ещё холоднее.

Воронок качнулся — поехали. Сергей посмотрел в зарешёченное окно: серое небо, серый снег, серые деревья, серые заборы. Зима. Всё — серое, будто мир нарисовали карандашом и забыли раскрасить. Деревья стояли голые, чёрные, как мачты затонувших кораблей, и снег лежал на них грязными шапками, и под шапками были инеевые ресницы, и когда во-

ронок качался, иней осыпался — мелкой, колючей пылью.

Старик, будто заскучав от молчания, заговорил опять:

— Ты откуда сам-то?

— С севера. Стрежевой.

— Далеко. А сюда как — по этапу?

— Вертолётom. Из СИЗО.

— Вертолётom, — старик хмыкнул. — Ну, хоть прокатился. Кто-то за деньги летает, а мы — за казённый счёт. Бесплатно. Только обратно не привезут.

Сергей невольно усмехнулся — тихо, беззвучно, одними губами. Старику, видно, стало легче от того, что малолетка хоть как-то отреагировал, и он продолжил:

— Я вот, малой, третий раз сижу. Первый — молодость, дурака валял. Второй — по глупости. Третий — вот, фляги эти дурацкие. А ты — первый раз. И сразу такое. Ты ж, небось, и не понимал, что делал.

— Понимал, — ответил Сергей. — Понимал.

— Ну. Тогда — держись. Раз понимал — значит, знал, на что шёл. А кто знал — тому проще. Кто не знал — тот ломается. А кто знал — тот привыкает.

— А вы? Привыкли?

Старик посмотрел на него — и впервые в его мятом лице мелькнуло что-то живое, не усталость, не привычка, а, тень удивления. Малолетка спрашивает. Малолетка — спрашивает старого каторжанина, привык ли тот к тюрьме. И в этом вопросе — больше, чем кажется. Не любопытство — попыт-

ка понять. Попытка заглянуть за забор, за который ещё не дошёл.

— Привык, — сказал старик после паузы. — Привык. Но это не значит, что хорошо. Привыкнуть — не значит смириться. Привыкнуть — значит перестать удивляться. Перестать удивляться — значит перестать ждать. Перестать ждать — значит наполовину умереть. Так что — привык. Наполовину.

Сергей молчал. Слова старика — простые, казённые, как формуляр, въедались, как холод. «Наполовину умереть». Он не хотел умирать. Даже наполовину. Но чувствовал — что-то в нём уже умирает, тихо, постепенно, как мёрзнет тело на морозе: сначала немеют пальцы, потом кисти, потом, всё остальное, и ты уже не чувствуешь, где ты, а где, холод.

Ехали недолго — минут двадцать, может, полчаса. Воронки остановился у шлюзов. Шлюзы, это ворота в другой мир: по одну сторону — воля, по другую, неволя, и между ними, полоса, ничья земля, где тебя проверяют, щупают, досматривают, прежде чем пропустить. Это называется «конверт» — место, где охранники тюрьмы досматривают воронок: днище, колёса, все щели, все закоулки, где можно спрятать что-нибудь, телефон, наркотики, нож, заточку. Конверт, это вытянутый прямоугольник из бетонных стен и решётчатых ворот с обеих сторон. Машина заезжает в него — задние ворота закрываются, и ты заперт между двумя стенами, как письмо между двумя листами бумаги. И тебя «читают».

Стояли в конверте недолго — минут пять, может, меньше. Охранники — двое, в тёмно-синей форме, с дубинками на поясе, обошли воронок, посветили фонарями под днище, заглянули в колёсные арки, простучали кузов снаружи, сухо, методично, без интереса, как люди, которые делают это по сто раз в день и давно перестали замечать, что за решёткой, живые люди. Один из них сказал что-то в рацию — неразборчиво, казённо. Потом передние ворота — заскрежетали, медленно, будто нехотя, разъехались в стороны, и воронок медленно выехал на территорию тюрьмы.

Тюрьма. Сергей смотрел в окно и пытался рассмотреть — но всё расплывалось, плыло, как в тумане. Серые здания, серые стены, серые заборы с колючей проволокой, которая провисала кое-где, ржавая, усталая, как старая паутина. Дворы — пустые, заасфальтированные, с потрескавшимся асфальтом, в трещинах которого набился снег, грязный, жёлтый, будто болезнь. Фонари — высокие, металлические, с плафонами, покрытыми инеем. Часовые на вышках — тёмные силуэты, неподвижные, как шахматные фигуры, поставленные на доску и забытые. И тишина — странная, неестественная, будто тюрьма не живёт, а терпит, как пациент в палате, у которого нет сил даже стонать.

Старик, глядя в то же окно, сказал негромко:

— Колпашево. Я тут уже был. Два раза. Страшное место. Леса вокруг — на сотни километров. Из этих лесов — никуда. Только тайгой. А тайга — она не отпускает.

Сергей посмотрел на старика. Тот сидел, сложив руки на коленях, и смотрел в окно — спокойно, без страха, без интереса, как смотрят на пейзаж, который видели сто раз. И от этого спокойствия — от этого полного, абсолютного безразличия, стало страшнее, чем от любого крика или удара.

Воронok подъехал к зданию — серому, трёхэтажному, с высокими окнами, забранными решётками, и такими узкими, что казалось, будто здание прищурилось. Конвой вышел из воронка, и Сергей слышал, как за кабиной о чём-то переговариваются — голоса глухие, казённые, вроде бы передавали дела, подписывали бумаги. Ещё минут пять они сидели молча, ожидая. В воронке было тихо — никто не разговаривал, все молчали, каждый со своим молчанием, со своим страхом, со своей надеждой, которая уже не была надеждой, а привычкой, надеяться на что-то, что никогда не сбывалось.

Старик наклонился к Сергею — близко, так что стало видно каждую морщину, каждый волосок бороды, и сказал тихо, почти шёпотом:

— Сейчас будут выгонять. Помни — не суетись. Иди спокойно. Сумку держи крепко. Когда спросят «обиженный» — говори спокойно, не дёргаясь. Понял?

— Понял.

— Ну, с Богом, малой.

Сергей посмотрел на него. «С Богом». Странно слышать это от человека, который третий раз сидит за кражу фляг. Но — звучало. Не как формула, не как присловье — а как прав-

да. Последняя правда, которую один арестант может сказать другому перед тем, как дверь откроется.

Потом залез один конвоир — с ключом от решёток. Ключ — большой, железный, на кольце, который звякал при каждом движении, как колокольчик на шее овцы. Конвоир вставил ключ в замок — щелчок, и решётка соседней секции поехала в сторону с лязгом, от которого у Сергея что-то сжалось внутри. Не страх — скорее, привычный рефлекс: лязг, значит, что-то начинается. В спецшколе так же: щелчок замка — и встаёшь, идёшь, делаешь, что говорят. Тело помнит то, что голова давно забыла.

— Давай, давай, собаки, шевелитесь! — конвойные кричали, и в их крике не было злости — была усталость, привычка, конвейер. — Выходи по счёту! Первый, второй, третий!

Каторжане — взрослые мужики, потёртые, обывкшие, высказывали из воронка быстро, привычно, без суеты, но без промедления. Они знали: медлить нельзя. Медлительность в этих местах, это не лень, это провокация. Ты медлишь — тебя торопят. Тебя торопят — ты злишься. Ты злишься — ты получаешь. Простой механизм, как рычаг: нажал — поехал, не нажал, стой. Так — всегда. Везде.

Очередь дошла до их секции. Конвоир открыл решётку — тот же лязг, тот же щелчок, и продолжил счёт:

— Восьмой, девятый...

Сергей вышел из-за решётки, встал в проёме, выглянул

наружу. Мороз ударил в лицо — привычный, знакомый, почти родной. Минус двадцать, может, больше — он не сразу определил, но воздух был сухой, колючий, пахнувший снегом и ещё чем-то, чему нет названия, запахом казённого двора, запахом бетонных стен, запахом чужой территории. Небо — низкое, серое, как потолок в казарме, и от него шёл такой холод, будто оно давило, не столько температурой, сколько тяжестью. Зима. Всё — как всегда. Зима его не пугала. Он вырос в зиме. Зима была — как мать, которая не любила, но была рядом, всегда, каждую минуту, каждую ночь, каждый день.

Сергей спрыгнул из воронка. В руках — небольшая сумка, потёртая, из тёмной ткани, с молнией, которая заедала. Внутри — почти ничего: пара сменного белья, кусок мыла, тюбик пасты, который уже почти выдавили. Никто ему ничего не приносил на свиданки — не потому что нельзя, а потому что некому. Мать не приехала бы, отец не приехал бы, братья — не знали, наверное, даже, где он. Но зеки — вот странно, собрали по камере: кто-то дал мятый блокнот, кто-то, пару ручек, кто-то, пачку чая, кто-то, пачку сигарет, кто-то, немного сахара. Не из жалости — из привычки: этап, это всегда сбор. У одного есть, у другого нет, у третьего — только то, что в кармане. Так — всегда. Так — везде. Когда у всех мало — делятся. Когда у всех много — нет. Это Сергей знал.

Он увидел коридор из охранников — они стояли по обе стороны, от воронка до входа в здание, как два ряда камен-

ных столбов, и в руках у каждого, дубинка, которой он хлопывал по ладони или по бедру, ритмично, методично, как метроном. Не били — пока. Постукивали. Звук был глухой, басовитый, и от него по спине бежал холодок — не от мороза, а от понимания: это не для тепла, это для тебя. Это — предупреждение. Это — давление. Психологическое. Тебя не бьют — тебе дают понять, что могут. И ты бежишь. Не потому что страшно — а потому что так надо, потому что медленно, нельзя, потому что медленно, это провокация.

Сергей схватил свою сумку — привычным жестом, прижав к боку, как косуху, и побежал, не глядя по сторонам, не оглядываясь, не поднимая головы. Один раз споткнулся — нога попала на лёд, тело качнулось, рука метнулась вперёд, но удержался, выправился, побежал дальше. Ничего. Мелочь. В спецшколе — тоже бегали, тоже спотыкались, тоже, «давай, давай». Разница была в одном: в спецшколе бегали мальчишки, а здесь — мужики, и от мужиков пахло иначе, не страхом и не детской злостью, а чем-то более тяжёлым, затхлым, въевшимся: безнадёжностью, может быть, или просто временем, которое провоняло в них, как табак в старой куртке.

После входа в тюрьму — крик: «Сумки в угол! Беги дальше! Стройся вдоль стены!» И Сергей бросил сумку, побежал дальше по коридору — длинному, тёмному, с кафельными стенами, бледно-зелёными, как лицо больного, и с эхом, которое повторяло каждый шаг, каждый крик, каждый звук,

как будто коридор запоминал всех, кто через него прошёл, и хранил эти звуки в себе, наслаивая одни на другие, день за днём, год за годом.

В углу коридора уже образовалась приличная куча из сумок, авосек, пакетов — всё брошено в беспорядке, одно на другое, как вещи на свалке. Куча росла с каждым новым арестантом, и охранники стояли рядом, не обращая на неё внимания, будто это было не имущество людей, а мусор. Для них — мусор. Для тех, кто бросил — всё. Всё, что у них есть в этом мире. Всё, что связывает их с волей, с домом, с тем, что было — до.

Сергей встал вдоль стены. Стена была холодная — кафель, ледяной, и холод от неё забирался под куртку, под свитер, под рубашку, под кожу. Он стоял и ждал. Ждал, как всегда. Как в спецшколе — на линейке, на проверке, на разводе. Ждать, это первое, чему учат в неволе. Ждать, это не действие, это состояние. Ждать — значит не решать, не выбирать, не хотеть. Просто — стоять и ждать, пока кто-то не скажет: теперь ты. Или: не ты. Или ничего не скажет, и ты будешь стоять, пока не упадёшь, а потом тебя поднимут и поставят, и ты будешь стоять опять. Так — всегда. Так — везде.

Это была психологическая давка. Не побои, не крик — давка. Тебя загоняют в коридор, запирают, лишают вещей, лишают имени — пока ты в коридоре, ты не Сергей, не Петров, не Иванов, ты, арестант, ты, номер, ты, ничего. И от этого «ничего» внутри что-то ломается, поддаётся, как лёд под

ногой, — не сразу, а постепенно, по миллиметру, и ты чувствуешь, как ломается, и не можешь остановить, потому что некуда опереться, не за что держаться. Так — задумано. Так — работает.

И Сергей стоял, и ждал, и думал — не о том, что будет дальше, а о том, что было раньше. О ковриках под лестницей. О ПАЗе с торчащим поролоном. О батарее, к которой он прижался щекой и заснул — первый и последний раз, когда тепло было его. О Вере, которая гладила медведя с одним глазом. О Нине, которая сказала «будь добр» — два слова, а тепла в них было больше, чем во всех годах с матерью. О Толе, о Сашке, о дяде Саше. О тёте Наде, которая крикнула «Серёжа!» — и в этом «Серёжа» было всё, чего ему не дали. Всё — в одном слове. В одном крике. В одном — чужом, голосе.

Глава 2. Обыск

Построили всех — в окончике, у окна в торце коридора, через которое пробивался бледный зимний свет, лежавший на кафеле тусклым, неровным пятном. Охрана более-менее успокоилась: половина ушла по своим делам — на посты, в дежурку, в кабинет,, осталась трое: два контролёра с пачками личных дел, серых, толстых папок, перевязанных бечёвкой, и один старший, который стоял чуть в стороне, скрестив руки на груди, и смотрел.

— Будем называть фамилии, — сказал один из контролёров, не повышая голоса, но так, что слышали все. Коридор

был гулкий, и звук летел по нему, отскакивая от кафельных стен, и каждое слово звучало дважды: сначала — из уст контролёра, потом — из уст коридора, и второй раз — всегда тише, глуше, будто эхо не соглашалось с оригиналом, но подчинялось. — По названию фамилии — подходить, называть имя, отчество, год рождения, статьи. Забирать свою сумку из угла. Идти на обыск. Понятно?

Молчание. Кивки. Кто-то переступил с ноги на ногу — кафель закрипел под ботинком, и звук был резкий, как царапина. Сергей стоял и ждал. Ждал своей фамилии, как ждут приговора — не потому что не знаешь, а потому что не знаешь, когда. И это «когда» — хуже, чем «что». «Что» — уже известно. А «когда» — тянется, тянется, как резина, и от натяжения внутри всё звенит.

Контролёр начал называть — монотонно, без выражения, как зачитывают список на собрании:

— Абдуллаев. Абдуллаев, подойти.

Мужик — средних лет, тёмноволосый, с усами, в потёртой кожаной куртке, вышел из строя, подошёл к столу, назвал себя. Контролёр сверил с делом — кивнул: «Сумку в угол, заberi. Следующий».

Фамилии шли одна за другой — Абдуллаев, Бояркин, Волков, Гараев..., и с каждым коридор пустел на одного человека, а куча сумок в углу уменьшалась, и каждый, кто забирал свою, брал её так, будто брал что-то живое, осторожно, прижимая к себе, как ребёнка. Для кого-то в этой сумке

— всё. Для кого-то — пустяк. Разница — в том, что у кого-то «всё», это больше, чем у кого-то «всё». Но в этом коридоре — разницы нет. Здесь все равны. Все — арестанты.

Мужик, стоявший рядом с Сергеем, — коренастый, с та- туировкой на шее, которую видно было из-под воротника,, наклонился и прошептал:

— Слышь, малой, ты как — не суетись, когда твою фами- лию назовут. Спокойно подойди, назови всё чётко. Не дёр- гайся. Они дёрганных не любят.

— Спасибо, — кивнул Сергей.

— Не благодари. Просто — удачи. Тут все — за себя, но иногда — за всех.

— Хударев.

Сергей вздрогнул. Не от страха — от неожиданности, как вздрагиваешь, когда тебя зовут из темноты, хотя ты ждёшь. Он вышел из строя, подошёл к столу. Контролёр — моло- дой, лет двадцать пять, с бритой головой и усталыми глаза- ми, посмотрел на него, потом в дело, потом снова на него. Что-то мелькнуло в его взгляде — может, удивление: мало- летка. Единственная во всём этапе. Малолетка во взрослой тюрьме, это необычно, это — аномалия, это, вещь, которая не должна быть, но есть, и с ней приходится иметь дело.

— Фамилия, имя, отчество, год рождения, статьи, — ска- зал контролёр, глядя в дело, а не на Сергея.

— Хударев Сергей Николаевич, тысяча девятьсот семьде- сят седьмого года, статьи сто сорок четвёртая часть первая и

сто шестьдесят третья, — сказал Сергей ровно, без запинки. Он повторял это столько раз, что слова стали автоматически, как «здравствуйте» или «спасибо», — произносишь, не думая, не чувствуя, без веса, без вкуса. Просто — слова.

Контролёр сверил. Кивнул.

— Сумку заberi. В комнату обыска. Третья дверь направо.

Сергей подошёл к углу, нашёл свою сумку — потёртую, тёмную, с заедающей молнией,, поднял, прижал к боку. Сумка была лёгкая, почти пустая, и от этой лёгкости стало горько: у других — авоськи, набитые вещами, которые им принесли родные, тёплые носки, домашняя еда, сигареты, книги. У него — почти ничего. Не потому что некому принести. Потому что некому. Точка. И от этой точки — пустота, которая не заполняется ничем, ни сигаретой, ни кашей, ни сном.

Комната обыска — маленькая, метров восемь, с белыми кафельными стенами, на которых были потёртости и тёмные пятна, может, от обуви, может, от чего-то ещё, о чём лучше не думать. В углу — стол, металлический, на нём, лампа с абажуром, которая мигала, как муха, которая хочет взлететь, но не может. На столе — ничего, только лампа и воронка для досмотра, металлический раструб, в который вытряхивают содержимое сумок, чтобы прощупать, проверить, нет ли чего запрещённого. В другом углу — скамейка. На стене — зеркало, мутное, с трещиной по диагонали, в котором Сергей увидел своё отражение: худой, обветренный, с тёмными

кругами под глазами и с выражением лица, который он называл «каменным», лицо человека, который давно перестал показывать, что чувствует.

— Сумку на стол. Раздеваться, — сказал контролёр, не глядя. Он делал это сотни раз, и Сергей был для него — очередной.

Сергей кинул сумку на стол. Контролёр — а за ним ещё один, который зашёл следом, набросились на неё, как собаки на кость: раскидали вещи по столу, вытряхнули всё из карманов, вывернули подкладку, прощупали швы, разворотили свёрток с бельём, тубик пасты открыли и понюхали, не спрятано ли что. Пакет с чаем — мятый, тонкий, перевязанный ниткой, порвался, и заварка, тёмная, пахучая, рассыпалась по столу, как мусор, мелкая и ненужная. Сигареты — несколько штук, без пачки, завёрнутые в бумагу, ломали пополам, проверяя, не заточка ли внутри. Одна сломалась. Контролёр бросил обломки на стол, и они лежали там, раздавленные, как пальцы, и Сергей смотрел на них и думал: вот — всё. Всё, что собрали ему зеки по камере. Всё, что у него есть. Лежит на грязном столе, разложенное, растоптанное, обысканное. И ничего не запрещено. И от этого — ещё горше: нечего прятать, нечего защищать, не за что держаться.

В это время Сергей раздевался. Скинул куртку, свитер, рубашку, штаны — сложил на скамейку, стопкой, привычно, аккуратно, как учили в спецшколе: вещи, в порядке, всегда в порядке, потому что беспорядок, это повод, а повод, это

удар. Разделся до трусов. В комнате было холодно — кафель, бетон, ни отопления, ни батареи, только лампа, которая не грела, а светила, тускло, мигая, будто сама мёрзла. По телу пошли мурашки — мелкие, частые, как сыпь. Мышцы напряглись, кожа подтянулась, и Сергей стоял, сжав кулаки, и ждал.

— А чё стоишь, ё-моё, — сказал контролёр, не повышая голоса, но с нажимом. — Трусы снимай.

Сергей посмотрел на него. И вдруг — откуда-то, из глубины, из того места, где жил ещё мальчишка, который ворует коврики с чужих порогов,, поднялось что-то тёплое, жёсткое, упрямое. Не злость. Не страх. Просто — упрямство. Последнее, что у него было. Единственное, что не отбирали. Тело — отбирали, свободу, отбирали, вещи, отбирали, имя, отбирали. А упрямство — нет. Упрямство, это не действие, это — отказ. Не «я буду», а «я не буду». И от этого «не буду» — внутри что-то держалось, как последняя стена, которую не пробили.

— Не буду снимать, — сказал Сергей. Тихо. Но — твёрдо. Контролёр посмотрел на него — впервые по-настоящему, не как на объект, а как на человека. И в его взгляде не было ни злости, ни удивления — только усталость. Он видел это сотни раз. Малолетки, впервые — упираются. Это — нормально. Это — этап. Сегодня упирается, завтра — не будет. Послезавтра — будет сам снимать, не дожидаясь команды. Это было правилом. Так — со всеми.

— Будешь, — сказал он ровно. — Никуда не денешься.

— Не сниму, — повторил Сергей, и голос его не дрогнул, но внутри — дрогнуло. Где-то в глубине, где жил страх, который он не показывал.

Второй контролёр — постарше, с усами и усталыми глазами, посмотрел на первого, потом на Сергея, и сказал негромко, почти по-человечески:

— Малой, не усложняй. Все снимают. Ты — не исключение. Тут — всем одинаково. Понял?

— Понял. Но не сниму.

— Ну, дело твоё, — второй пожал плечами. — Сними сам или помогут. Разницы — никакой. Только во втором случае — хуже.

Сергей не ответил. Молчал. Стоял. Кулаки — сжаты. Челюсть — сжата. Тело — напряжено, как струна, и мурашки, по всему телу, и холод, от ног, от кафеля, от воздуха, и ничего, кроме упрямства, тёплого, тихого, последнего.

Удар был — не сильный. Пару раз — дубинкой по спине, плашмя, не ребром, не больно, а так, обидно. Контролёр бил без злости, без удовольствия — привычно, как хлопают муху: не для того, чтобы убить, а для того, чтобы улетела. Звук был — глухой, басовитый, и от него по спине, не боль, а вибрация, как будто внутри что-то сдвинулось, подалось, то самое упрямство, которое держалось, как последняя стена, дало трещину. Не рухнуло — треснуло. И через эту трещину — просочилось: ладно. Хорошо. Сниму. Чего стоит, это

упрямство, если за него — дубинкой. Чего стоит — всё, если за всё, дубинкой.

Сергей снял трусы. Держал в руках — сжав, скомкав, как что-то стыдное, последнее, своё. Голый, в холодной комнате, с мурашками по всему телу, с трещиной в упрямыстве — он стоял и не смотрел ни на кого. Смотрел в стену. В белую кафельную стену, на которой были потёртости и тёмные пятна, и думал: так. Вот так. Так, это и есть. Ничего. Нет ничего. Нет ни одежды, ни имени, ни упрямыства. Только — тело. Голое. В холодной комнате. И человек с дубинкой, который говорит: приседай.

— Приседай. Три раза.

Сергей присел. Раз. Два. Три. Встал. Колени — дрожали, не от холода, не от страха, от унижения. Приседание голым в холодной комнате, под взглядом контролёра, это не проверка. Это — ритуал. Ритуал слома. Тебя заставляют сделать то, что ты не хотел, — и ты делаешь. И после этого — ты другой. Не сломанный — другой. Потому что знаешь: ты сделал. Ты — присел. Голый. Перед чужим человеком. В холодной комнате. И мир не рухнул. И ты не умер. И от этого — не легче, а, пустее. Будто внутри — вынули что-то и поставили на место пустоту.

— Одевайся, — сказал контролёр, уже отвернувшись к столу, где лежали растоптанные сигареты и рассыпанная заварка.

Сергей надел трусы. Потом — рубашку, свитер, штаны,

куртку. Каждую вещь — привычным движением, не думая, не чувствуя. Тело — одевалось само. Голова — была где-то в стороне, как будто висела над плечом, наблюдая со стороны, как кто-то, похожий на Сергея, но не Сергей, натягивает свитер, застёгивает молнию, подбирает с стола обломки сигарет, сгребаёт заварку в кучку, складывает бельё обратно в сумку. Как будто он — не он. Как будто он — зритель в собственном кино, которое давно снято, и плёнка, затёрта, и кадры, знакомы наизусть, и всё равно, смотришь, потому что некуда деться, и выход, нет, не из комнаты, из себя.

— Обиженный — не обиженный? — спросил контролёр, не глядя. Вопрос был — казённый, рутинный, как «как дела» на проходной. Не потому что интересно — потому что положено.

— Не обижен, — ответил Сергей. — По жизни — всё нормально.

Это был важный вопрос. Важнее, чем казалось. «Обиженный», это опущенный, это — низшая каста, это, необратимо. Если скажешь «обижен» — тебя запомнят, запишут, передадут по этапу, и всё, навсегда. Нет возврата. Нет — назад. Сергей знал это — не по себе, по слухам, по рассказам, по тому, как в камерах шёпотом обсуждали, кто, кто, и кто, куда. И ответил — не обижен, по жизни всё нормально, спокойно, ровно, без запинки. Потому что — не обижен. По жизни — всё нормально. Нормально — не значит хорошо. Нормально — значит, пока не опущен. Пока держусь. Пока живой.

Контролёр кивнул. Записал что-то в журнал — быстро, небрежно, строчки бежали по бумаге, как муравьи по столу. Потом — махнул рукой в сторону двери:

— В отстойник. Коридор, прямо, первая дверь налево.

Глава 3. Отстойник

Отстойник, это камера без кроватей. Две лавочки вдоль стен — деревянные, тёмные, отполированные чужими телами до блеска. Туалет в углу — за перегородкой в рост человека, из тонкой фанеры, которая не доставала до потолка на полметра, и оттуда, из-за перегородки, шёл запах, к которому Сергей уже привык: запах мочи, дезинфекции и ещё чего-то, чему нет названия,, запах большой скученности людей в маленьком пространстве.

Камера — небольшая: метров пять-шесть в длину, метра четыре в ширину. Потолок — низкий, с одной тусклой лампой, закрытой решёткой, свет, жёлтый, болезненный, как у лампочки в подъезде, которую не меняли годами. Стены — крашенные, светло-серые, с потёртостями и трещиной, которая шла от угла к окну,, длинная, тонкая, как шрам. Окно — маленькое, зарешёченное, под самым потолком, через которое виднелся кусок неба, серый, плоский, без единого облака, как простыня, и так же, безжизненный.

Там сидели все, кто прилетел с Сергеем в одном этапе. Те же лица, что были в вертолёте, в воронке, в коридоре — усталые, серые, с глазами, которые смотрели в одну точку или никуда. Мужики — от двадцати до пятидесяти, в раз-

ных одеждах, но с одинаковым выражением: ожидание. Не надежда — ожидание. Разница — как между «хочу» и «буду». Они не хотели — они ожидали. Ожидали — распределения, решения, движения, какого-то сдвига, который скажет: теперь, туда. Или — теперь, сюда. Что-нибудь. Хоть что-нибудь, лишь бы — не это, сидение в камере без кроватей, на лавках, в ожидании, которое тянется, как резина, и от которого внутри, всё звенит.

Сергей был единственной малолеткой в этапе. Единственной — и это было заметно: все были старше, все были, больше, тяжелее, обветреннее, и он среди них, худой, молодой, с лицом, на котором ещё не успели поселиться те глубокие морщины, которые приходят с годами за решёткой. Он сидел на лавке, прижавшись спиной к стене, — холодной, как лёд, и ждал. Ждал, когда назовут его фамилию. Ждал, когда конвой будет удобен. Потому что — конвой решает. Не ты, не твоё дело, не твоя статья — конвой. Дневная смена не стала заморачиваться разводом по камерам — зачем, если через час смена? Пусть ночная разбирается. И так — всегда: дневные, не наши, ночные, не наши, а ты, сиди и жди. Время — не твоё. Время — их. Ты — содержимое. Содержимое — не решает.

Мужик напротив — тёмноволосый, с татуировкой полосы на плече, посмотрел на Сергея и спросил:

— Малой, ты чё один? Без передачи?

— Один, — ответил Сергей.

— А тебе чё, никто не собирает? Мать, отец?

Сергей помолчал. Потом сказал ровно:

— Нет.

— Совсем?

— Совсем.

Мужик покачал головой, достал из кармана мятую пачку сигарет, вытряхнул одну, протянул:

— На. Покури. Тут — так: у кого есть, тот делится. Завтра у тебя будет — ты поделишься.

Сергей взял сигарету. Прикурил от зажигалки, которую мужик протянул, — дешёвой, пластиковой, с облупившимся рисунком. Дым пошёл — горький, тёплый, и от него в груди что-то шевельнулось, будто кот, который спал и проснулся. Никотин ударил в голову — легко, приятно, и на секунду, только на секунду, стало легче. Не хорошо — легче. Как будто кто-то снял с плеч один из мешков, которые он нёс.

— Спасибо, — сказал Сергей.

— Не за что. Тюрьма — она такая. Сегодня ты голодный, завтра — я. Сегодня у меня передача, завтра — у тебя. Колесо крутится.

В отстойнике было относительно тихо. Кто-то курил — сигареты передавали по кругу, и дым стоял в камере синим туманом, и от него щипало глаза. Кто-то тихо разговаривал — вполголоса, наклонившись друг к другу, и в разговоре были слова: «срок», «статья», «колония», «пересылка», «мать», «дом». Кто-то спал — сидя, опустив голову на грудь, с ру-

ками, сложенными на коленях, как у молящегося. Спали — как спят в неволе: не отдыхая, а убегая. Сон, это побег, единственный, который доступен всегда, который не карается, не наказывается, не пресекается. Закрой глаза — и ты, не здесь. Открой — и ты, здесь. И пока глаза закрыты — ты, где-то. Может, дома. Может, в детстве. Может — нигде. Но — не здесь.

Сергей не спал. Не мог. Сидел, смотрел на стену, на трещину, которая шла от угла к окну — длинная, тонкая, как река на карте,, и думал. Думал — о разном. О том, как он сюда попал. Не физически — а как-то вообще, по жизни. Как мальчишка, который в шесть лет убегает из дома босиком по асфальту, оказывается в двадцать с лишним лет в тюрьме. И между этими двумя точками — шестилетним пацаном в пинжаме и двадцатилетним парнем в отстойнике, что? Что было? Спецшкола. Побег. Беспризорники. Вера с медведем. Нина, которая говорила «мама». Кочегарка. Гитара. Холод. Голод. Всё это — было. И всё это — привело, сюда. В камеру без кроватей, с двумя лавочками и туалетом за фанерой. И от этой мысли — не горько, не обидно, пусто. Как будто внутри — та же трещина, что на стене: идёт от угла к окну, и ничего по ту сторону, кроме серого неба, плоского, как простыня.

Тот же мужик, который дал сигарету, — его звали, кажется, Гена, или Гена-Татарин, по тёмным усам и скуластому лицу,, затушил окурок о лавку и сказал:

— Малой, а ты по жизни как? Не обижен?

— Не обижен, — ответил Сергей, и это была правда.

— Ну и хорошо. Смотри, чтоб не пристали. Ты молодой, один, без передачки — лёгкая мишень. Держись за своих. Если что — кричи.

— Спасибо.

— Не благодари. Просто — смотри в оба. Тут — как в лесу. Кто заметил первым — тот и выжил.

Вот в окончике — начале вечернего развода, в отстойник пришли контролёры. Двое. Один — с журналом, второй, с ключами. Тот, что с журналом, открыл его, полистал, нашёл нужную страницу и начал вызывать:

— Абдуллаев, Бояркин. За мной.

Двое поднялись с лавок — тяжело, кряхтя, как старики, хотя им было лет по тридцать. Один — Абдуллаев, обернулся в дверях, посмотрел на тех, кто остался, кивнул:

— Удачи, братва.

— И тебе. Главное — здоровья.

«Главное — здоровья». Сергей слышал это каждый раз, когда этап расставался. Каждый раз — одно и то же. Не «счастливо», не «пока», не «до встречи». «Главное — здоровья». Потому что здоровье, это единственное, что здесь ещё твоё, единственное, что не отняли. Статью — отняли, срок, дали, свободу, забрали, имя, заменили номером. А здоровье пока твоё. Не заболел, не сломался, живой.

И так — по одному, по двое, отстойник пустел. Каждый уходил — с сумкой, с матрасом, с охапкой постельного бе-

лья, которое выдавали на разводе,, и за каждым закрывалась дверь, и щелкал замок, и звук был, один и тот же: щелк. Как точка. Как конец. Как — всё.

Гена-Татарин, уходя, хлопнул Сергея по плечу:

— Держись, малой. Всё будет. Может, и повезёт.

— И вам.

— Мне — уже не повезёт. Я третий раз тут. А ты — первый. Может, и последний. Держись.

Дошла очередь до Сергея.

— Хударев.

Он встал. Посмотрел на тех, кто остался — троих, которые ждали своего вызова,, и кивнул:

— Удачи, мужики.

— И тебе, малой. Главное — здоровья.

«Малой». Вот так его называли — малой. Не потому что молодой, а потому что — единственный. Единственный малолетка во взрослом этапе. И от этого «малой» — было тепло и холодно одновременно: тепло, потому что не «обиженный», не «опущенный», а малой, пацан, свой. Холодно — потому что «малой», это «другой», это «не наш», это «чужой». И в этом — вся тюрьма: ты, свой и чужой одновременно. Ты — арестант, но, малолетка. Ты — один из нас, но, не совсем. И эта «не совсем» — как та трещина на стене: идёт через всё, разделяет на «до» и «после», на «тут» и «там», на «мы» и «ты».

Глава 4. Колпашево

Сергей поднялся по лестнице на четвёртый этаж. Шёл — медленно, осторожно, неся перед собой охапку: матрас, свёрнутый валиком, поверх, одеяло, серое, казённое, тонкое, как газета, и подушка, маленькая, плоская, как блин, в наволочке, которая была когда-то белой, а стала, серой, жёлтой, с пятнами, которым не хотелось искать происхождение. В другой руке — сумка, та самая, потёртая, с заедающей молнией. Всё — неудобно, всё, норовило выскользнуть, упасть, и Сергей прижимал всё к себе, как могут прижать к себе только те, у кого больше ничего нет,, жадно, бережно, как ребёнок прижимает игрушку.

Лестница была бетонная, с металлическими перилами, холодными, как лёд. Стены — крашеные, тёмно-зелёные, с облупившейся краской, под которой виднелся бетон, серый, шершавый, как кожа слона. На стенах — царапины, кто-то нацарапал гвоздём: «Саша, 1991», и рядом, мат. Кто-то нарисовал сердце, пронзённое стрелой, — криво, неумело, как рисуют дети. И от этого сердца — почему-то, стало особенно тоскливо. Кто-то сидел здесь, в этом коридоре, нёс матрас и одеяло, и думал — не о тюрьме, а о ком-то. О ком-то, кто остался — там, за забором, за решёткой, за всеми замками. И нацарапал сердце. И ушёл. А сердце — осталось.

Тюрьма Колпашева. Сергей не знал её истории — знал только, что страшная. Знал по обрывкам, по шёпоту в камерах, по взглядам, которые делали мужики, когда слышали это название. Говорили, что построена ещё в екатеринин-

ские времена — давно, в те времена, когда и сама Сибирь была не краем, а ссылкой, не землёй, а приговором. Здание — серое, массивное, с толстыми стенами, которые, казалось, не строили, а отливали из бетона, как фундамент для чего-то тяжёлого и вечного. Находилась она в лесу, далеко от цивилизации, и лес — тёмный, густой, безразличный, окружал её со всех сторон, как стража, которая не уйдёт. А какие лагеря находились там, в лесу — про то говорили шёпотом, и от этого шёпота делалось не по себе. Сергей в них не был — его увезли чуть в другое место, потом. Но — слышал. Слышал — и запомнил. И от того, что запомнил, — не спалось иногда ночью.

Контролёр шёл впереди — быстро, не оглядываясь. Сергей еле поспевал, охалка кренилась, матрас норовил выскользнуть. На четвёртом этаже — коридор, длинный, тусклый, с рядом дверей по одну сторону, железных, серых, с глазками и кормушками. За дверями — тишина. Или — не тишина, а то, что звучит тише тишины: дыхание, шорох, шаги. Жизнь — за дверями, была, но не показывалась. Как рыба на дне: есть, но не видать.

— Лицом к стене. Руки за спину.

Сергей повернулся. Стена — перед глазами, серая, шершавая, с трещиной, которая шла вверх, как молния. Руки — за спину. Ждать. Всегда — ждать. В спецколле — ждал. Здесь — ждёт. Везде — ждёт. Ждать, это единственное, что от него — постоянно, требовали. И он — ждал. Потому что

— научился. Потому что — привык. Потому что — не ждать, нельзя.

Камера открылась — лязг, щелчок, скрежет засова. Дверь — тяжёлая, железная, толщиной в палец, отъехала в сторону, и из камеры пахнуло застоялым воздухом: табак, хлорка, чужой пот, и ещё, что-то, чему нет названия, запах камеры, запах неволи, запах нескольких человек, запертых в маленьком пространстве на долгое время.

— Заходи, — сказал контролёр.

Сергей развернулся — привычно, быстро, как его учили: не медленно, не суетливо, ровно. Проём — узкий, и он еле протиснулся с этим матрацем и сумкой. И за ним сразу же закрылась камера. Щелчок. Лязг. Всё. Ты — внутри. Ты — заперт. Ты — один.

В камере сидели три мальчишки. Три — на двухъярусных нарах, которые занимали две стены: два внизу, один наверху. Четвёртое место — сверху, напротив, пустое. Его. Мальчишки — малолетки, как он. Разного возраста — от шестнадцати до, может, восемнадцати, хотя в тюрьме возраст, вещь относительная: один в шестнадцать выглядит на двадцать, другой в двадцать, на четырнадцать. Все — с тем же выражением: настороженность, прикрытая равнодушием. Не страх — привычка. Не злость — защита. Так выглядят все, кто сидит, все, кто ждёт, все, кто — за забором.

Сергей огляделся. Камера — небольшая, метров пять на четыре, с теми же серыми стенами, с тем же тусклым светом,

с тем же окном под потолком, узким, зарешёченным, через которое виднелся кусок неба. На стенах — выцарапаны имена, даты, обрывки фраз, мат, кто-то нарисовал обнажённую женщину, криво, неумело, но с такой тоской, что от одного взгляда, горько. На нарах — постель, смятая, казённая, серая. На столе — алюминиевые миски, ложки, пустой чайник. В углу — туалет, за той же фанерной перегородкой, которая не доставала до потолка.

И у Сергея сразу всплыли в голове строки — из песни, которую он слышал давно, очень давно, может, в спецшколе, может, ещё раньше, от кого-то из старших, из тех, кто уже был в лагерях и пел эти песни негромко, вполголоса, как молитву:

«Здравствуй, каменный двор, мать-старушка-тюрьма.
Здравствуй, церковь, оковы, решётка.»

Он остановился на минуту. Не потому что растерялся — наоборот. Потому что понял: это — теперь его квартира. Это — дом. Не тот дом, из которого он сбегал в шесть лет босиком по асфальту. Не тот дом, где мать не сказала ни одного тёплого слова. Не тот, где отец бил молча, без объяснений. Другой дом. С чужими людьми, с казённым одеялом, с туалетом за фанерой. Но — дом. Единственный, который у него был.

Один из мальчишек — постарше, с тёмными глазами и щетиной, которая росла неровно, клочьями, посмотрел на Сергея и спросил:

— С этапа?

— С этапа, — кивнул Сергей.

— Малолетка?

— Малолетка.

— Статья?

— Сто сорок четвёртая, часть первая. И сто шестьдесят третья.

Мальчишка присвистнул — тихо, почти беззвучно, одними губами. Сто сорок четвёртая, это серьёзно. Это — не кража, не мелочь. Это — грабёж.

— Долго?

— Срок? — Сергей пожал плечами. — Суд будет. Пока — следствие.

— Понятно, — мальчишка кивнул. — Я — Диман. Это — Паха, — он указал на второго — щуплого, рыжего, с веснушками, который сидел на нижних нарах и смотрел на Сергея без враждебности, но без дружелюбия — просто смотрел, оценивал, как смотрят на нового в стае. — А вон там — Рустам.

Рустам — тёмноволосый, с бровями, которые срослись на переносице, и с татуировкой на пальце, маленькой, синей, не разобрать, что, сидел на верхних нарах и не сказал ни слова. Только кивнул — коротко, едва. И отвернулся к стене.

— Я — Серый, — сказал Сергей. — Куда лечь?

— Вон, верхнее, — Диман указал на свободное место. — Свободное.

Сергей забросил матрас на верхние нары — привычным движением, сверху, как учили в спецшколе: матрас, первым, потом, одеяло, потом, подушка. Разложил, разгладил — руки делали сами, голова была где-то в стороне. Потом сел на нары, спустил ноги, посмотрел на мальчишек. Три незнакомых лица. Три чужих человека. Три — как и он, малолетки во взрослой тюрьме. И от этого — не ближе, не теплее, не легче. Но — не так одиноко. Не один — уже не один. Пусть — чужие. Пусть — незнакомые. Но — не один.

— Серый, а ты откуда? — спросил Диман, закидывая руки за голову.

— С севера. Стрежевой.

— Ого. Далеко. А как сюда попал?

— Вертолётom. По этапу.

— Вертолётom, — Диман хмыкнул. — Круто. Мы — воронком. А ты — вертолётom. Как шишка-пассажир.

— Да, — невесело усмехнулся Сергей. — Только обратно не привезут.

— А-а, — Диман махнул рукой. — Обратно — никогда не привозят. Только — дальше.

Паха, который молчал всё это время, разглядывая Сергея из-под рыжих бровей, вдруг спросил:

— А ты чё, в спецшколе был? Только не ври — я сразу вижу.

— Был, — ответил Сергей. — А что?

— Да так. Примета есть. Кто из спецшколы — те сразу

по-другому входят. Не суетятся. Не озираются. Как домой приходят.

— А я и пришёл домой, — сказал Сергей, и не понял сам — пошутил или нет.

Он посмотрел на кусок неба в окне. Серое, плоское, безжизненное. Но — небо. Не стена, не потолок, не решётка. Небо. И пока есть небо — есть, что-то. Может — не надежда. Может — не будущее. Но — что-то. Что-то — за стеной. Что-то — за забором. Что-то — за этим серым, плоским, безжизненным окном, которое, как щель в двери, через которую виден другой мир, в который тебе, хода нет, но который, есть. И от того, что он есть, — не легче, но, не так пусто.

Это его теперь квартира. Сергей закрыл глаза. Лёг. Одежда — тонкое, казённое, пахнущее чужим мылом. Подушка — плоская, как блин. Матрас — жёсткий, с комками, как будто внутри, не вата, а чья-то смятая, скрученная, неудобная жизнь. Но — лёг. И лежит. И живой. Пока живой. И пока живой, не последнее. Не последнее небо. Не последняя камера. Не последний день. Пока — не последнее.

Пока.

Глава 5. Камера

Сергей начал потихоньку, понемногу входить в режим тюремной жизни. Не то чтобы он этого хотел — скорее, тело само перестраивалось, как перестраивается оно при переезде в новый город: сначала всё чужое, потом привыкаешь, потом перестаёшь замечать. Так и здесь — камера, решётка, жёл-

тые стены, запах хлорки и чужого табака, всё это в первый день резало, давило, кричало «ты не отсюда», а через неделю стало просто фоном. Через две — нормой. Через три — уже и не помнилось, что когда-то было по-другому.

У него было преимущество перед своими сокамерниками — и он это знал, хотя никогда бы не сказал вслух. Спецшкола. Не пацаны с улицы, не детские дома — спецшкола, где жёсткость была не исключением, а правилом, где били, не от злости, а от системы, где слабость, это приговор, а сила, единственная валюта. Сергей впитал это не головой — кожей, мышцами, костями. Он знал, как смотреть, чтобы не спровоцировать удар. Знал, как молчать, чтобы не привлечь внимание. Знал, как стоять, чтобы не казаться слабым, и как сидеть, чтобы не казаться опасным. Это — не наука, это, инстинкт. Тело помнило то, что голова давно забыла.

Он быстро выбился в лидеры. Не потому что хотел — а потому что не мог иначе. Жестокость спецшколы, впитанная в кожу, в кости, в рефлексy — она выходила наружу, как выходит из земли вода: неостановимо, тихо, но, сильно. Он не дрался, не кричал, не угрожал — он просто был. Был так, что другие — чувствовали: этого не надо трогать. Не потому что страшно — а потому что бесполезно. Как стену — её не трогают не от страха, а от понимания: она не сдвинется.

— Серый, а ты чё, в спецшколе был? — спросил как-то Диман, лежа на верхних нарах и болтая ногами.

— Был, — ответил Сергей, не поднимая глаз от журнала,

который листал, больше по привычке, чем из интереса.

— И как там?

— Как тут. Только кормят хуже.

Диман хмыкнул. Паха, сидевший у стола и раскладывая карты, поднял голову:

— Нет, ну серьёзно. Ты чё такой... ну, крутой сразу? Тебя ж никто не трогает.

Сергей отложил журнал, посмотрел на Паху — спокойно, без вызова, без позы, и сказал:

— А зачем меня трогать? Я никого не трогаю. Живу спокойно.

— Ну да, — не унимался Паха, — только когда Руслан тебе за чифирь не отдал, ты его так посмотрел — он два дня с тобой здоровался. А ведь он старше тебя.

— Руслан — мудака, — сказал Сергей просто. — Руслан — который взял чужое и не отдал. Я не просил. Я — посмотрел. Он — понял. Всё.

— А если б не понял?

— Тогда бы — по-другому. Но он понял.

Паха открыл рот, чтобы спросить ещё, но Диман пнул его с верхних нар — не сильно, но ощутимо, и сказал:

— Паха, закройся. Не лезь. Человек — жил, знает. Ты — в первый раз, ты — не знаешь. Сиди и учись.

Паха замолчал. Но в глазах его — рыжих, с веснушками на веках, мелькнуло что-то: не обида, не страх, уважение. Тихое, не сказанное вслух, но — видимое. Малолетка, кото-

рый прошёл спецшколу,, это не мальчишка с улицы. Это — другой уровень. И Паха это понял — или начал понимать.

Но это ему было нужно для выживания — и только. Он никогда не показывал свою слабость, хотя ему совершенно это было ненужное — быть жёстким, быть первым. Если бы можно было — он бы свернулся на нарах, накрылся с головой одеялом и лежал так, тихий, незаметный, пока всё не закончится. Но нельзя. Потому что в тюрьме, как и в спецшколе, как и на улице, слабость, это приглашение. Покажешь, что тебе плохо — и придут те, кому от этого плохо станет хорошо. Так устроен мир за забором, за решёткой, за любым замком: если ты не волк — ты овца, а овцу стригут.

Он завидовал сокамерникам. Тихо, зло, стыдно — но завидовал. Им приносили передачи. Мамы, бабушки, тёти — кто-то приходил, кто-то писал, кто-то заполнял бланки, стоял в очередях, нёс пакеты с едой, с одеждой, с сигаретами. Маленькие, скучные, казённые процедуры — заполнить бланк, передать через окошко, ждать, пока контролёр проверит, нет ли чего запрещённого, но за этими процедурами стояло то, чего у Сергея не было: кто-то, на воле, думал о нём. Кто-то знал, что он здесь. Кто-то — ждал.

У Сергея ничего этого не было. Никто не приходил. Никто не писал. Никто не заполнял бланки. Сумка, с которой он приехал, — та самая, потёртая, с заедающей молнией,, была всем, что у него было. И от этого — не обидно, не горько, пусто. Пусто, как в той камере без кроватей, где он ждал раз-

вода. Пусто, как в карцере, где бетон и лампочка. Пусто — как в его жизни, с самого начала.

И у него была полная неловкость, когда его спрашивали: — Серый, а ты сирота? Чё тебе никто не передаёт?

Сергей не знал, что на этот вопрос отвечать. У него официально были родители — живые, здоровые, с адресом и телефоном. А на самом деле их не было. Он мог спокойно себя считать безотцовщиной, сиротой, без родителей. «Сирота при живых родителях» — звучит как оксюморон, но для Сергея это было не словосочетание, а, жизнь.

— Ну... у меня родители есть, — говорил он, и голос его в этот момент становился ровным, пустым, как стена, на которой ничего не написано. — Просто далеко. Не могут приехать.

— А письмо? — не понимал Диман. — Написать-то могут?

— Могут. Наверное. Не знаю.

— Ну, ты им напиши. Скажи, куда писать. Они и напишут.

— Да, — кивал Сергей. — Напишу.

И разговор заканчивался. Потому что Сергей замолкал, и по его лицу было видно — всё, закрыто, не лезь. И мальчишки не лезли. Чувствовали — по интонации, по тому, как он отводил глаза, по тому, как брал журнал и начинал листать, не читая, что здесь, граница. И за эту границу — нельзя. Потому что за ней — боль. А боль — у каждого своя, и чужую, не трогают.

Из-за этого он больше выплёскивал злости на сокамерников. Был жёстче к ним, чем нужно. Пытался обыграть их на передачах — не от жадности, а от злости. От той злости, которая копится, когда тебе обидно, но показать обиду нельзя, и она превращается в агрессию — мелкую, бытовую, неопасную, но, постоянную. Он обыгрывал их в карты, выигрывал сахар, сигареты, чай — и не потому что ему было мало, а потому что, так он чувствовал хоть какой-то контроль. Хоть какую-то власть. В мире, где у него не было ничего — ни передачи, ни письма, ни свиданки, выигранные в карты пачка чая были единственным, что он мог назвать своим. Своим, не казённым, не выданным, не собранным чужими руками, а выигранным. Отвоёванным. Своим.

Глава 6. Дорога

Он привык уже к местной жизни. Целый день — в основном спали или что-нибудь читали, занимались всякой ерундой, готовились к вечеру, вся жизнь в тюрьме начиналась вечером. Днём — тишина, сон, карты, журнал. Днём — ничего не происходит. Днём — ждёшь. А вечером — начинается.

Вечером начинались дороги. Дорога была превыше всего.

Дорога. Это слово в тюрьме значит не то, что на воле. Дорога, это связь между камерами. Нитка, верёвка, шнурок, перекинутый из окна в окно, через двор, под часовыми, под фонарями, под носом у контролёров. По дороге шла малява — записка, свёрнутая в мелкий квадратик, привязанная к грузику. Грузик — шарик из хлебного мякиша, плотно ска-

танный, размером с орех. Нитка — из распушенной простыни, тонкая, но крепкая. Всё это — тайком, ночью, в темноте, когда свет уже отключили и контролёры ушли к телевизору.

Дорога, это не просто связь. Это — жизнь. Единственное, что связывает камеры, которые иначе — изолированы, отрезаны, заперты. Без дороги ты — один. С дорогой — ты, часть. Часть системы, которая живёт своей, параллельной жизнью, невидимой для охраны, для контролёров, для всех, кто — по ту сторону решётки. Дорога, это новости, просьбы, предупреждения, сплетни, приговоры. По дороге можно узнать, кто — кто, что, как, что, где. По дороге можно передать привет, чай, заточку, маляву. Дорога, это вена, по которой течёт кровь тюрьмы.

Сергей быстро понял, как это работает. Вечером, когда свет в коридоре тускнел и контролёры уходили на перекур, кто-то из камер — обычно Диман, потому что руки у него были лёгкие и глаза, острые, крутил шарик на нитке, раскачивая его, как маятник, и целился в окно соседней камеры. Попадал не сразу — шарик бился о стену, отскакивал, падал. Но — рано или поздно, попадал. Нитка повисала между окнами — тонкая, едва видимая в темноте, и по ней шла малява.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.